



РОБЕРТ МУЗИЛЬ

*Душевные смуты
воспитанника Тёрлеса*

ФТМ

Москва

2 0 2 0

УДК 82/89
ББК 84(4Авс)
М89



ROBERT MUSIL
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
1906

Перевел с немецкого С. К. Апт

Музиль Р.

М89 Душевные смуты воспитанника Тёрлеса : [роман] / Роберт Музиль ; [пер. с нем. С. Апта]. — М.: «Т8 Издательские Технологии» / «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020. — 169 с. — (Серия «Мировая классика»).

ISBN 978-5-521-74699-6

Психологический роман австрийского писателя Роберта Музиля (1880–1942) повествует о сложных этапах взросления юноши, учащегося в привилегированном закрытом интернате. Одна из причин душевной смуты героя — математические операции, в частности с квадратным корнем из минус единицы. Этот во многом автобиографический роман позволяет получить представление о мировоззрении автора, выразившемся в его последующих произведениях.

Роман публикуется в классическом переводе Соломона Апта.

УДК 82/89
ББК 84(4Авс)

ISBN 978-521-74699-6

© Апт С. К., наследники, перевод
на русский язык, 2020
© Оформление.
ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020

Как только мы что-нибудь выскажем, мы это удивительно обесцениваем. Мы думаем, что погрузились в бездонную глубину, а когда возвращаемся на поверхность, капля воды на бледных кончиках наших пальцев уже не похожа на море, откуда она взялась. Мы мним, что открыли замечательные сокровища, а, возвращаясь на дневной свет, приносим с собой лишь подделки под драгоценные камни и стекляшки, и все-таки сокровище по-прежнему мерцает во тьме.

Метерлинк

Маленькая станция на линии, ведущей в Россию.

Бесконечно прямо уходили в обе стороны четыре параллельные рельсовые нитки между желтым гравием широкого полотна: возле каждой, как грязная тень, темная полоса, выжженная отработанным паром.

За низким, выкрашенным масляной краской станционным зданием широкая разъезженная улица поднималась к вокзалу наклонным въездом. Ее края терялись в вытоптанной кругом земле, и распознать их можно было только по двум рядам акаций, уныло стоявших с обеих сторон, с иссохшими, задушенными пылью и копотью листьями.

То ли из-за этих унылых красок, то ли из-за бледного, бессильного, утомленного дымкой света послеполуденного солнца в предметах и людях было что-то безразличное, безжизненное, механическое, словно их выхватили из сцены кукольного театра. Время от времени, через одинаковые промежутки, начальник станции выходил из своего кабинета, глядя вдаль, одинаково поворачивая голову, ждал из сторожек сигналов, которые все еще не возвещали приближения скорого поезда, надолго застрявшего на границе; одинаковым движением руки он доставал затем свои карманные часы, качал головой и исчезал снова —

как приходят и уходят фигурки, возникающие на старинных башенных часах на исходе часа.

По широкой утрямбованной полосе между рельсами и зданием прохаживалась оживленная компания молодых людей, шагая слева и справа от немолодой супружеской четы, находившейся в центре их несколько громкой беседы. Но и оживленность этой группы не была настоящей; шум веселого смеха умолкал, казалось, уже через несколько шагов, словно падал наземь, наткнувшись на упорное невидимое препятствие.

Госпожа надворная советница Тёрлес, дама лет сорока, прятала за густой вуалью грустные, слегка покрасневшие от слез глаза. Надо было прощаться. И ей было тяжело снова оставлять свое единственное дитя на такой долгий срок среди чужих людей, без возможности самой оберегать своего любимца.

Ведь городок этот находился далеко от столицы, на востоке империи, среди пустынных сухих полей.

Причина, заставлявшая госпожу Тёрлес мириться с пребыванием своего мальчика на такой далекой, неприятной чужбине, состояла в том, что в этом городе находился знаменитый интернат, который с прошлого века, когда он был построен на земле одного богоугодного фонда, так и оставили на отшибе, затем, вероятно, чтобы оградить подрастающую молодежь от пагубного влияния большого города.

Ибо здесь сыновья лучших семей страны получали образование, чтобы, покинув это заведение, поступить либо в высшую школу, либо на военную или государственную службу, и во всех этих случаях, как и для вхождения в высший свет, быть выпускником интерната в В. считалось особой рекомендацией.

Четыре года назад это заставило супругов Тёрлес уступить честолюбивому напору их мальчика и добиться его приема в училище.

Решение это стоило позднее обильных слез. Ведь с той минуты, когда за ним безвозвратно закрылись ворота

училища, маленький Тёрлес страдал от страшной, страстной тоски по дому. Ни уроки, ни игры на больших, пышных лужайках парка, ни другие развлечения, которые предоставлял интернат своим воспитанникам, не способны были занять его. Он видел все только как бы сквозь пелену, и даже среди дня ему часто бывало трудно подавить в себе упорное всхлипывание; а по вечерам он всегда засыпал в слезах.

Он писал письма домой, почти ежедневно, и жил только в этих письмах; все прочее, что он делал, казалось ему лишь призрачным, пустым времяпрепровождением, безразличными вехами, как цифры на циферблате. А когда он писал, он чувствовал в себе нечто особое, исключительное; как остров, полный чудесного солнца и красок, поднималось в нем что-то из того моря серых впечатлений, которое холодно и равнодушно теснило его со всех сторон изо дня в день. И когда он среди дня, за играми или во время уроков, думал о том, что вечером будет писать свое письмо, у него было такое чувство, будто он носит на невидимой цепочке потайной золотой ключик, которым он, когда этого никто не увидит, откроет калитку чудесного сада.

Примечательно, что в этой внезапной, изнуряющей привязанности к родителям было что-то новое и поразительное для него самого. Он прежде не подозревал о ней, он отправился в училище с радостью и добровольно, он даже засмеялся, когда его мать при первом прощании не удержалась от слез, и лишь после того как он пробыл несколько дней один и чувствовал себя относительно хорошо, это прорвалось в нем вдруг и стихийно.

Он принял это за тоску по дому, за тягу к родителям. На самом же деле тут было нечто гораздо более неопределенное и сложное. Ибо «предмета этой тоски», образа его родителей тут, собственно, вовсе не содержалось. Я имею в виду некую пластическую, не просто головную, а телесную память о любимом человеке, которая вызывает ко всем чувствам и во всех чувствах сохраняется, так что неизмен-

но ощущаешь его молчаливое и невидимое присутствие. Эта память вскоре затихла, как отголосок, который звучит недолго. «Милых, милых родителей» — так он обычно говорил это мысленно — Тёрлес уже не мог тогда, например, воочию представить себе. А когда он делал такую попытку, вместо образа родителей в нем вспыхивала беспредельная боль, мука которой его карала и все-таки заставляла упорствовать, потому что ее жаркое пламя и жгло его, и в то же время приводило в восторг. Мысль о родителях все больше становилась для него просто поводом вызвать в себе это эгоистическое страдание, которое умыкало его в свою сладострастную гордость, как в уединенность часовни, где сотни горящих свечей и сотни иконных глаз кадят среди пыток самобичующихся...

Когда затем его «тоска по дому» ослабела и постепенно исчезла, это ее свойство стало видно довольно ясно. Ее исчезновение не повлекло за собой долгожданной удовлетворенности, а оставило в душе юного Тёрлеса пустоту. И по этой своей опустошенности, незаполненности он понял, что утратил не просто тоску, а нечто положительное, некую душевную силу, что-то такое, что увяло в нем под предлогом боли.

Но теперь это прошло, и этот источник высокого блаженства стал для него ощутим лишь благодаря тому, что иссяк.

В это время снова исчезли из его писем следы пробуждавшейся души, и место их заняли подробные описания жизни в училище и новообретенных друзей.

Сам он чувствовал себя при этом обедненным и голым, как деревце, которое после неплодоносного цветения вступает в первую зиму.

А родители его были довольны. Они любили его с большой, бездумной, животной нежностью. Каждый раз, когда у него кончались каникулы, дом ее казался советнице снова пустым и вымершим, и после каждого такого приезда она еще несколько дней со слезами на глазах ходила по комнатам, ласково дотрагиваясь до предметов, которых